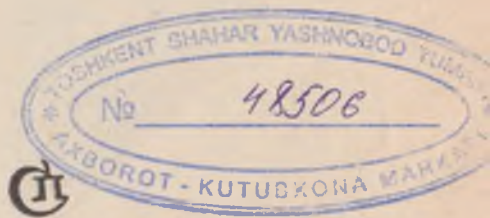


Ильск
063

ОЛЕГ ОРАЧ

**ЗИМНИЕ
ЖАВОРОНКИ**









ОЛЕГ ОРАЧ
ЗИМНИЕ ЖАВОРОНКИ
СТИХИ

*Перевод с украинского
Владимира Карпеко*



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МОСКВА 1974

С (Укр) 2
О-63

В этой по-юношески свежей книге
вольно колосятся поля Украины, плещут
воды, цветут сады и полной грудью
дышит молодость нашей страны,
идушая славной дорогой отцов
и старших братьев.

© Перевод на русский язык. «Советский писатель», 1974 г.

○ $\frac{70403-99}{083(02)-74}$ 279-74



Мне для счастья нужно
Очень-очень мало:
Только б солнца в грудь мне
И ветров навстречу,
А рукам — работы,
А ногам — дороги,
А в дорогу друга,
Непреклонность веры
В человека, в утро,
Да блокнот для строчек,
Да любви для сердца...

Ну скажите, право,—
Разве это много!!



Кувшин... Как плечи милой, у него
бока — их жадно так ласкают руки.
Я пью вино — и терпкий хмель его
как поцелуй после большой разлуки.

Любуюсь тем кувшином я — и, дна
достигнув, истины я вижу очертанья:
«вино в кувшине» иль «кувшин вина» —
одно и то же эти сочетанья.

А все же не кувшину и вину —
молиться буду лишь первопричине:
боготворю я женщину одну,
ту, что вино приносит мне в кувшине.

Не выдержит сравнения кувшин
с осанкою ее неповторимой.
Напомнит даже лучшее из вин
лишь отдаленно поцелуй любимой.

ЗЕМЛЯ

**Я там живу, где жито жнут
и где
на радуге — речушка тетивою,
где солнца луч улегся на воде,
колеблемый ленивою волною;
где тяжело спят курганы в ковылях,
а детям запорожцев снятся кони,
невзнузданы еще и неподкованы...
Я там живу — моя это земля,
какая есть — и с сухью, и с грозою.
На ней пахать мне, сеять и любить,
пришельцев разных смертным боем бить,
в последний час припасть к ней головою...
Но перед тем несчетно окропить
рабочим потом, кровью и слезою.**



Пускай на перепутьях ворон кричат,
пусть я в поту от головы до ног,
он мой — весь мир бесчисленных дорог,
и все пути-дороги не иначе
как для солдатских кирзовых сапог.

И, отдав душу на потребу века,
планету, где пестра людей семья,
выстукиваю сапогами я
второй уж год,
как хлопотливый лекарь.

...Садится солнце. Наш привал — недолгий.
Спи крепко, мир, уставший от трезога.
Марш позади. Во влажный грунт дороги
впечатаны следы моих сапог,
солдатских и натруженных сапог.



Ты приходишь сама,—
и уже позабыты обиды,
и вконец меня сводит с ума
губ твоих обжигающий выдох.

Исчезаешь. И нет тебе дела,
что кричу я опять: — Приходи!
И свое истомленное тело
на смиренность и казнь приводи.

Приходи — и тогда мы увидим,
кто кому упадет на плечо,
кто заплачет в тоске и обиде
или — сладостно и горячо.



За годом год и дни за днями —
уходит жизнь, о боже мой!..
И про любовь ты вдруг затынешь,
но нет — не вытянуть одной.

И в зеркале мерцает грозно
хлопот серьезных седина.
А глубина ночей морозных —
уже прозрачная до дна.

Еще крепки тугие весла,
еще послушна им вода...
Бежит вода, уносит вёсны
за поворот — и навсегда.

И на душе твоей тревожно,
и от прозренья не уснуть:
грести против течения можно,
но вспять его — не повернуть.

Садится солнце за горою,
и, словно юность, над Днепром,
как над бедою — над водою,
калина машет рукавом.

И листья кружатся на плесах.
Куда уносит их! Куда!
И с ними весны, с ними весны —
сквозь невода... сквозь невода...



Памяти В. Устенко

Приснился друг... Вошел и сел напротив
и так, печальному, сказал он мне:
— Утри слезу. Что в долгой скорби проку?
Нужна работа. В черной той работе
день ото дня гори, как на огне.
Трудись. Да так, чтобы спина болела,
из ночи в ночь седела голова.
Года на скорбь потратить!

Делай дело!

А если нет деяний — что слова?

Подумай...

Жизни каждый миг

отныне,

как будто он — единственный,

цени.

Сложи поэму. Посади калину.

Спаси дитя — жизнь матери верни.

— Но для чего все? Не могу понять я —
к небытию приводят все пути...—

И я лечу сквозь вещи и понятия,
опоры точку не сумев найти.—

В чем жизни суть! И в жизни наш удел!

Ты знаешь смерть,

а жизнь познать сумел!..

ОТЦОВСКАЯ ШИНЕЛЬ

Не раз осколками пробита,
не раз опалена огнем,
лежала скорбно на убитых —
их прибавлялось с каждым днем.

Свинцом посечена, как смелый
наш полковой священный стяг.
Она смертям в глаза глядела
и поседела вся — в боях.

...А где-то вздыблены ракеты,
и слышно: «Дранг нас Остен! Шнелль!»
И я от мамы по секрету
отцову меряю шинель.

ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ

В переулки сыпало,
в трубах завывало,
в белопенной сугеми
село утопало.
Вьюга лихо ехала
на белом коне
и, косматая,
у хаты
усмехаться стала мне:
— Хочешь,
хлопче,
стать морозом
навсегда!!
Разом грозы
заморозим
в холода!
Будут все страшиться,
ежась и скорбя,
будет сердце
ледяное
у тебя...

— Ой ты, вьюга, не сердись,—
ответил я,—
одолжил себе я
сердце соловья,

обещал за сердце
звонких песен я!..

Ох, разгневала же вьюгу
речь моя!

Вьюг, лютее той,
не помнило село —
аж под самые
под стрехи
намело.



Гарсиа Лорке

Поэтам тем — не манна с неба.
Их слава — не для интервью.
Они ржаным питают хлебом
любовь и ненависть свою.

Им не до лаврового груза,
их правда выше всех щедрот.
Им — только б не ослепла муза
и не забыла про народ.

Свободы жажда не сгасала б,
пыланья им, а не тепла!
Не только ж ради хлеба-сала
кровь революции текла.

Их биографии, поверьте,
без юбилеев и без дат.
И большинству из них до смерти
своих изданий не видать.

За ними — тайные агенты
и днем (а чаще — по ночам!).
И жалуют их президенты —
куда там царским палачам!

И все ж, пока хватает силы,
людскую боль в себе несут,
и строки их гудят, как жилы...

Потом когда-то с их могилы
земли священной горсть возьмут.

ОСЕННЕЕ

1

Да, этой осенью работы хватит всем.
Сынам-солдатам матери готовят
посылки. В ящик яблоки ложатся
пылающие, как метеориты,
чеканенные из зари вечерней,
червонно-алой, с тонкой позолотой.
И листья обязательно кладут,
и перца лютого стручков багрово-ярых,
нанизанных на ниточку, положат
(наверное, в тайге такого нет —
он не растет на тех ракетодромах).
А меньшая сестричка непременно
в последний миг успеет принести
бессмертников букетик — помнит брата.
Всем хлопоты осенние приятны.

2

Да, этой осенью на уток не пойдет
дед одряхлевший — глаз совсем ослеп,
да правый, как назло. И уж ружье
висит в раздумье, верно, над кроватью;
кому ж это из внуков передаст
хозяйин все охотничье хозяйство,
расскажет про утиные места
и где скрадки устраивать годится!

Хозяин же глядит одним лишь оком,
что, как луна из тучи, из-под брови,
и думает о вечном и высоком —
о смерти, о траве, что отрастает,
о том, что надо б перед смертью внукам
поведать родословную свою.

МОЕМУ ПОГИБШЕМУ ДЯДЬКЕ

Где прах дедов и прадедов твоих,
где ты родился, хлопцем рос чубатым,
где мать впервые вывела из хаты
за батьковский порог — до дней до сих
там ждут тебя,
и зимними ночами,
когда окно с мороза накипит,
как странники, усталы и печальны,
плетутся думы, и душа болит,
разбуженная давним-давним горем,
и мы ведем с бабусей разговоры.
Давно померк недолгий зимний вечер,
но свет не зажигаем...

— Крутоплечий
был дядька твой — заглядывались девки
и рушники спешили вышивать
под свадебные старые припевки,
чтобы — дай бог! — его невестой стать.
А он — а он одну любил. Оксану...
И как-то раз ее привел он в хату.
Чернява и тиха... И с тонким станом...
Была бы парюю!..
Теперь она за Гнатом,
что с выселок...

А в скрыне похоронка

и серебристо-красный орден с нею рядом —
за ратный труд посмертная награда...—
В какой земле, в какой чужой сторонке,
мой дядька, встретил ты свой смертный миг?..

Где прах де́дов и прадедов твоих,
где ты родился, хлопцем рос чубатым,
где мать впервые вывела из хаты
за незабвенный батьковский порог,—
в твой день рождения тебе пирог
пекут.

И долго зимними ночами,
когда окно с мороза накипит,
старушка мать вздыхает и не спит;
как странники, усталы и печальны,
плетутся думы, и душа болит.
А помнятся ей времена иные,—
и ты — веселый, молодой...

Доныне

там ждут тебя...

БОЛЬ

**Рушника мне ты не вышивала.
Ты была и словно не была...
На вокзал меня не провожала,—
ведь еще малюткой отдала.**

**Годы незаметно проходили...
Но забыть никак не смог я дня,
как чужие люди приютили,
чтобы в люди вывести меня.**

**Малышу для счастья много ль надо?
Но без ласки меркнет белый свет...
Рано я узнал, что у тебя-то
материнства крохи даже нет.**

Ты и мать мне и не мать...

**Одно мне
помнится — как ты ушла за дверь.
Рук твоих не довелось запомнить —
мне другие дороги теперь.**

**Не затем тебе не шлю я вестку,
что ни дня свободного в году.
Не к тебе я приведу невестку,
не к тебе я внука приведу.**

ОСОКОРИ

Белый пух слетает тихо в травы...
Где ты, детства дальняя межа!
Как вы возмужали, осокори!
Время шло — и с вами я мужал...

Помните ли вы еще! Вот здесь же...
В этой, кровью обгаренной, ржи
молодой солдат, обнявши землю,
неподвижно третий день лежит...

Взрывы в поле найденных снарядов —
тяжкое наследие войны.
Латанные двадцать раз и снова —
в двадцать первый — рваные штаны.

Пас гусей, коней купал колхозных,
на работу выходил чуть свет...
Осокори, память-осокори,
было у нас детство!
Или — нет!..



Земля парует, вешняя — парует,
и снова молодость права берет!
Весна людей и голубей парует,
задумчиво пуская их в полет.

По вечерам — теплынь... И вечерами
листвою прошлогодней пахнет дым.
И возле хат своих, под яворами,
сидят до ночи, кашляют деды.

А на рассвете, ой, а на рассвете,
как на восходе маки зацветут,
клянутся хлопцы светом тем и этим,
что, мол, к венцу весною поведут.

Дивчата слушают, одолевает робость,
душа сомнений всяческих полна...
Но падают в объятия, как в пропасть,—
весна...



Мы сбросили робы,
мы сено сгребали,
лудили лучи оголенные торсы.
И пахли пырей, материнка и тырса
чаем и сохнущими грибами.

Кладутся непросто высокие скирды,
над каждой намаешься — ладно стояла б.
А сено! Настояно будто на спирте,
которого после трудов не мешало б.

Наколешь,
поднимешь,
тихонько идешь,
несешь, словно тучу,
пахучий навильник,
простреленный солнца лучами навывлет,
и где-то под самое солнце кладешь.

Под вечер водою озерною мылись,
и мышцы натруженные гудели,
а после всем взводом на сене храпели,
и вновь Украина левадами снилась...



Какой там дом! — про теплую казарму
мелькают мысли...

Путь еще далек.

На мокром автомате руки зябнут.
И от земли не оторвать сапог.

И, шлемами расшатывая морок,
идем сквозь ночь, во тьме кричат сычи.
У нас ученья, и команда «в горы!»
нас поднимает на гору в ночи.

Из боя вынеси кого-то тут —
и он тебе навеки братом станет...
Рассвет чуть намечается в тумане,
и струйка дождевая словно прут.



Я чуть отдохну... И опять пойду...
И рвался в ночь — и, бессильный, падал.
И в равнодушную темноту
отчаянно ахал из автомата.

Затянет болото — ищи-свищи...
С ночною тайгой плохие шутки.
«По-гост, по-гост»,— предрекали сычи.
«У-гу»,— поддакивал филин жутко.

Да будьте вы прокляты, чертовы хляби!
Выберусь... Вырвусь... Ведь я — живой!..
И ты преждевременно, сыч, не вой —
и воля, и мышцы мои не ослабли...

Оружие над головою держу я,
по грудь провалившись в болотную рвань.
И вот, погибая, услышал: — Встань!
Я так по тебе, мой далекий, тоскую!..

Во имя заплаканных зорь моих ранних —
встань!
Во имя наших встреч и прощаний —
встань!

Прекрасного сына тебе подарю я —
встань!

Тебя заклинаю, любя и горя —
встань!

...Когда на рассвете дополз до базы
и снял

все в болотной грязи
«хебе»,

я понял —

до этой ночи
ни разу

не думал так

о любви,
о тебе.

ДВОРНИК

**Листья сыплются,
сыплются
сегодня, как и вчера...
Хочет он вымести их
со двора.
Метет чуть свет,
метет в обед,—
сегодня, как и вчера.
Не хочет поверить упрямый дед,
что осень не выметешь со двора.**



Село мне вдруг приснилось... Утро. Дым
над хатою. Отец готовит косы —
идти косить куда-то надо с ним...
Из сада спело пахнут абрикосы.
И хата хлебом пыхает горячим,
что матушка к рассвету напекла.
Отец косу мою уж намантачил —
она на погреб, звякнув чуть, легла,—
и лишь потом он взялся за свою...
И позади уж сопки и туннели,
и служба в Уссурийском том краю.
И я стою в заношенной шинели.
Никем еще не узанный, стою.

А батька все косу мне отбивает,
размеренно колотит молотком.
А над селом теплынь висит такая,
как будто бы парное молоко.

ПОЭТ

Еще раз — Гарсиа Лорке

Чтоб убить рыбака —
надо высушить море.
Чтоб убить землепашца —
надо ниву испепелить.

Но считают так палачи:
«Зачем убивать рыбака —
он наловит нам рыбы.
Землепашца зачем убивать —
он нам вырастит хлеб...»

Чтоб поэта убить —
мало просто отнять
у поэта перо и бумагу
или руку отсечь,—
надо:
первое —
 чтобы поэт молчал,
второе —
 чтоб про него молчали.
Но легче заставить умолкнуть
сотню
про одного,
чем одного
про миллионы.

Если ж молчит поэт —
молчит народ.
А когда молчит народ,—
палачам становится жутко...

«О чем он молчит!..»



Над землею гуси пролетали,
о летах зеленых гоготали.
Над землей
гортанный
крик летел их
из-под облаков
туманно-белых.
Облака
крылами
обнимали,
синеву
крылами
загребали.
Звезды в озеро
златым зерном
упали.
Утомились вожаки,
лететь устали.
Как мечты,
летели
высоко-высоко,—
сели отдохнуть,
водицы глотнуть,
а озеро — пересохло.

МАЧЕХА

Она и недоест, и недоспит,
оденет в школу, галстучек поправит,
расспросит, как дела, о чем грустит,—
так только о родном душа болит.

А все не «мать», а — «мачеха».

Судьбой

обречена за мачех быть в ответе.

Родная бьет — не та же разве боль?

А вот сильней родную любят дети.

...Есть много слов. Есть разные слова.

Различно их звучанье, смысл различен...

Давно ее он «мамою» назвал,

а люди... люди «мачехой» все кличут.

ПОЛУДЕННОЕ

Багряно-фиолетово-муарова,
в рододендронах вся и в дубняках,
врастает сопка в дымчатое марево,
вершиной утопая в облаках.

А там,
над ней,
отправившись на ловлю,
орел кружит —
петля...

Еще петля...

И загляделась на него земля,
задумалась...

Ни шороха...

Ни слова...

И лишь на миг блеснет,
в кустах юля,
и скроется
змея, пикоголова...

И лишь орел,
опять петлю круга,
взмывает

в неба купол голубой.
Да автомат мой на ремне.

Да я,
что берегу полуденный покой.



Ключ журавлей углом туда —
на Украину,
и солнце клонится туда —
на Украину,
Чумацкий Шлях, и он туда—
на Украину.

Язык певучий — нежность лебединая —
живет с рожденья музыкой во мне.

Не удивляйся, не ищи причины,
что я грущу, что я кричу во сне.

Уж, видимо, от века так ведется:
каких там райских куц ни обещаю,
а сердце

человеческое
рвется

всей памятью

туда —

в родимый край.

И уж тогда узки тебе широты,
мечта летит над золотом полей
туда, где Киев стольный на земле
и где «реве та стогне Дніпр широкий».



А мне приснился сон:

я шел с войны.

Из плена брел или шагал героем,
не помню уж...

Земля сочилась кровью,
и нивы были испепелены.

Была весна —

и не было дождей.

И выгорело небо голубое.

И мел дороги

ветер-суховей,

гоня столбами

пыль

перед собою.

Потрескались земли сухие губы,
она лежала в ржавых травах вся.

И я, солдат,

нахмуренный и грубый,

слезами хлебороба залился.

Я так спешил —

а как я мог иначе! —

хоть слабый увидеть росток весны.

А мне приснилось...

Я не верю в сны

и в предсказанья грозные тем паче,

но иногда,
когда иду с войны
в солдатских снах,
я, как ребенок, плачу.



О дней моих листва!
Как зелена еще ты.
И я, весне слагающий хвалу,
несу тебя, листкам отдельным счета
еще не зная, в трудовом пылу.
Тебе с ветрами юными и старыми
шуметь и трогать солнечный зенит,
тебе внимать

трагедиям земным,
дрожать под их тяжелыми ударами.
Не будем

перед вечностью беспечны:
ликует жизнь, шумит она,

а все ж

мы,
как и все здесь на земле,
не вечны —
и ты, листва, пожухнув, опадешь...
Останутся друзья, враги и дети.
И это все!

А что еще! Как жить!

Людское сердце чем смогу приветить!
Смогу ли кривду правдою крушить!
Смогу ль пройти
сквозь боль и радость буден,

чтоб, перед тем как в пламени сгореть,
весеннюю оставить песню людям
и землю пеплом собственным
согреть!

МАТЬ ЖДЕТ

«Я ненадолго, слышите, мама!
Не запирайте вóрот...»
Не удивилась —
в семнадцать и сами
теряли времени счет.
После — война...
И не каждой сына
счастье далось обнять.
Ой, не одна
в эту злую годину
с горя тужила родня!..
Под рушниками
в рамочке черной
смотрит с портрета сын.
И на гвоздочке
портфель потертый,
который он в школу носил...
Хлопец любил бы,
смеялся б с нами —
если б не пулемет!..

«Я ненадолго, слышите, мама!
Не запирайте вóрот...»



Туманной стала неба полость,
и за горами скрылся день.
Меж двух вершин —
в прицела прорезь —
запала месяца мишень.

Мы возвращались с полигона,
и звезды сыпались из тьмы,
которых на свои погоны
еще не заслужили мы.

НА УЧЕНИЯХ

Скоро месяц,

как не устают

месить

хлябь дорог

тягачи

тяжеленными траками.

Кто придумал

землю

к небу пришить

дождевою

холодную

дратвою!..

С козырька дребезжит

и за ворот течет.

Въелся мокрый ремень

до ключицы в плечо.

Сколько я недоспал

в эти ночи без звезд!

Эту землю учусь я любить...

И в мороз,

когда стынет

мгновенно

плевок на лету

и по насту звенит,

стекленея,—

«ДО ДОМУ»

До дому... Известно солдату любому
весомость вот этого слова—до дому.
До дому! — и поезд пронижет туннели.
До дому! — и ветер полощет шинели.
Колеса на стыках: до-до-му, до-до-му,
где хата прилипла к обрыву крутому,
где плещется рыба на плесах — до-до-му,
где можно на лодке на веслах — до-до-му,—
грести, поклоняясь деньку молодому.
Заходится сердце: до-до-му, до-до-му!

По горло изведав разлук и дорог,
мы истинно любим отцовский порог...



Не снись мне чайкою,
вернусь —
и спелых слов моих янтарь
я принесу и поклонюсь
и положу, как на алтарь,
чистосердечно поклонюсь
печалью матери:

Икар
домой так не стремился, мама,
как я!..

Но только мало, мало
еще подошв я износил
с тех пор, как я покинул хату
и в мир загадочный вступил.
Я не искал друзей богатых
и рад был щедрости людей —
хоть принимали не в палатах,
но в красном все ж углу сидел.
Друзья — бывало! — отвращались,
злорадно тешились враги —
я отвергал с презреньем жалость,
и в злобы темные круги
бросался я!..

Но не смеялись —
дрожали в ужасе враги.

**И крепнул я твоею верою,
с ней побеждал в любом бою.
Я в материнский гений верую
и в долю добрую мою.**



Покидая вагон надоевший, собрав свои вещи
и состав проводив, уносящийся черт те куда,
я люблю возвращаться домой не под вечер,
а под утро всегда,
когда хата мигает оконцами подслеповато,
и квашня уже в дежке подходит той самой порой,
и спросонья вздыхает дымарь в полутьме тепловатой
тут и я — на порог.

И уж так она рада мне, мачеха, так она рада,
что не знает, куда меня и усадить.

Я смотрю на нее: ну, неправда, ей-богу, неправда,
что не может она, не родная, меня, как родного, любить!..

И замесит, и ровненько-ровно хлебину подрежет,
и помажет пером, и посадит в горячую печь.

А снаружи светлеет край неба, так розово-нежен,
в сени прячется мрак, чтоб до ночи под лавку залечь.

А хлебину горячие блики ласкают, окутав,
словно дикое племя со всех подступает сторон...

Я люблю не под вечер домой возвращаться, а утром,
чтоб на миг воскресить ту картину из детских времен,
когда хата мигает еще в синеватое небо,
где едва назревает рождение нового дня,
я не сплю уж, а мама колдует над хлебом,
управляясь с ухватами возле огня.

ГАРМОШКА

Гармошка так умела загрустить —
у самых крепких увлажнялись очи.
На танец умудрялась пригласить,
хоть ты и не умеешь и не хочешь.
На маршах нас всегда сопровождала...
И, чтобы голоса не залегли,
гармошку в непогоду мы, бывало,
как малого ребенка, берегли.
Укутывали бережно палаткой...
А на мехах — давно на латке латка,
отходит планка...

Что уж там — стара,
и ей в запас уже давно пора —
пускай музей красу ее хранит...
А вот — играет, хоть порой хрипит!
Гармошка ротная, бойцов отрада!
Про отчий дом напомнит, напоет
о том, что где-то молодца-солдата
его невеста терпеливо ждет.
А коль не ждет!

И сразу сердцу тесно!
Жарь, гармонист, сам черт тебе не брат!
Но тут уже и черту не известно,
что в головах творится у солдат.

Гармошка ротная...

**И мне, бывало,
не раз тоску от сердца отвела,
когда, казалось, сил уж не хватало.
О, как она солдата выручала,
даря запас душевного тепла!**

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вскричал гудок на станции
прощально и тепло.
Солдата — сына словно бы —
встречает все село.

И приглашают в дом меня
степенно старики.
— На службе не женился ли? —
шумят мои годки.

— Родного языка еще
в тайге не позабыл! —
Дружки дивятся весело:
— Смотри, такой, как был...

И вот у клуба сходятся
и ровня, и юнцы,
дивчата, словно горлицы,
и хлопцы-молодцы.

Иду и я, взволнованный,
ищу среди дивчат
одну дивчину — вышла ли
солдата повстречать!

Но нет ее... Забыла ли!..
Отснилось. Отошло.
Тропинки моей юности
снегами замело.



На дворе постелите мне, мама,
под черешнею старой в саду,
чтоб звезда, догорая, мерцала
надо мной, как из клуба приду.

Я забудусь во сне бестревожном...
Это ж сколько я дома не спал!
Там в далеком дозоре таежном
я два года уже отстоял.

Вот и отпуск...

И пусть без «отбоя»
упоенно поют соловьи,
пусть всю ночь над моей головою
белый месяц в дозоре стоит.

А пока...

А пока еще — вечер,
и гармошки зовут голоса...
На солдатские смуглые плечи
упадет на рассвете роса.

И покажется странной в семь ровно
без команды «подъем!» тишина.
Словно, точный во всем и суровый,
вдруг уставы проспал старшина.

Тихо встанет заря из тумана,
осторожно росинкой звеня...
На дворе постелите мне, мама,
и с зарей не будите меня.

В ТАЙГУ

**Рюкзак — и все мое со мною.
Билет на лайнер — и в полет.
Туда, где колкою стеною
передо мной тайга встает,**

**в густую зелень, в шелестенье,
где птицы ласково поют
у мира где-то на краю...
И наплывает наважденье,
и вот я — дерево...**

Стою —

**и — кипень рек, и — ливней нити,
и солнце на воде дрожит.
Корнями я — в палеолите,
и туча на ветвях лежит.**



Причина всех моих печалей,
не снись мне больше. Не жалея.
Уж наши гуси открычали
над грустью скошенных полей.

Где эта веточка омелы!
Ступенька шаткая крыльца!
Над Черным морем ночью белой
прощанье наше без конца!

На дне души то чувство давнее,
оно молчит который год.
И трезвым смыслом горло сдавлено —
крик из него не прорастет.

Все забывается. Да что мне!..
Но — вспомни. Хоть однажды — вспомни...



...А там рябиновый рубин,
там белка на сосне качается,
охотничий мой карабин
меня в зимовье дожидается.

В зимовье дед — как сокол дед! —
он ичиги свои латает,
о чем-то давнем напевает...
Ему стонадцать с гаком лет,
стонадцать радостей и бед,
да он уже и не считает.

Река летит через пороги
и пену в океан несет.
И забывается про все,
и улеглись мои тревоги,
и грусть мне сердце не сосет.

Дорогу трудную свою
день завершает за горою.
...Пришел напиться и не пью —
как перед вечности рекою,
перед рекою я стою.



О спину ружье будет биться —
мой старый бельгийский «лепаж»...
Бродить и дивиться, дивиться
и вовсе забыть патронташ.

Там ветер берез-полонянок
терзает свирепо, как зверь.
В сорочках стоят полотняных —
вся их одежонка теперь.

Минули бои, отзвучала
излюбрей победная медь.
Уже кабарга отлиняла,
наелся орехов медведь.

Тепло еще... Шали цветные
на сопки надела тайга.
Но скоро на краски шальные
улягутся ровно снега.

ДОЖДЬ

**Вот наконец остыло лета пекло,
и на асфальт, давно размякший сплошь,
из семилучья радужного спектра
пролился дождь.**

**Шумит и хлещет водопад спектральный,
воды и солнца дерзкая игра.
И, в лужи забредая специально,
блаженствует, ликует детвора.**

**Дождь трудится, и щедрый, и желанный,
подставил город плечи, как под душ.
Тот теплый дождь — как праздник долгожданный,
как требованье откровенья душ.**

**Купаются машины и трамваи,
трава стартует с лихостью — даешь!
Мы безгранично щедрыми бываем,
когда сухую землю поливает
слепой—**

прозревший! —

перезревший! —

дождь.



Под небом зеленым
Японское море — зеленое,
базальтовых скал крутизна
вся в прожилках зеленых,
меж кедров зеленых
глядит на меня изумленно
испуганных пара оленей
пятнисто-зеленых.
Зеленые птицы —
 как наши надежды зеленые,
и наша любовь —
 голубая
и вечнозеленая.
Я знаю,
что — осень,
да, знаю определенно я,
но мы — еще молоды,
и все еще в мире —
 зеленое.



Сказала между прочим, к слову —
идет, мол, хлопцам седина,
что их, мол, делает суровой
и привлекательней она.
Сказала просто, не имея
подспудных мыслей никаких...

Я над строкою поседею
в одну из тех ночей немых,
когда уж луч рассвета — в сени,
а в хате ночь еще течет:
сверкнет, как молния, прозренье
и мозг открытием обожжет.

Тогда увидится такое,
что не сыскать и в тыщах книг.
И будет миг столетий стоять,
и поседею я в тот миг.
Ты серебру седин, признайся,
не знаешь истинной цены.

...Пожалуйста, не испугайся
моей внезапной седины.



Оленн тишины неслышно дышат,
настырные сверчки в колках стерни —
секунды словно звонкий бисер нижут
на ниточки мелодий. Не спугни —

так тишина нужна всему на свете,
чтобы узреть поры осенней сути —
как провожает клен, скрестивши ветви,
себя же самого в последний путь.



А будет так: весна, и ветер
опавший цвет несет, шальной,
над улицей уже прогретой,
и воздух, от медов хмельной,
дрожит. Меня ж на этом свете
уже не будет. Надо мной
повиснет ночь... **А** может, буду!
И, умерев, переселюсь
[хотя б на миг поверим чуду!]
я в ласточку. И загляжусь
на то, как цвет опавший ветер
несет, веселый и шальной,
над улицей уже прогретой,
и воздух, от медов хмельной,
дрожит...



И ночь. И Хортица. И ты.
Как черти, мы хохочем, скачем,
и дыбится из темноты
скала над домиком рыбацьим,
где белый невод, словно дым,
развешан на колах сушиться.

Нам выпало в степях родиться,
потом прийти сюда, в сады,
и целоваться — как напиться
Днепра живительной воды!

Иль это было, или снится:
и ночь, и Хортица, и ты!



Не диво ль — день, что знойно-зыбок!
Не диво ль — облачко над ним!
И что сквозь воду видно рыбок,
как будто птиц — сквозь белый дым!

Не диво ль — над речною кручей
сухой листвы свежайший дух!
Что, словно в пригоршнях, могуче
корнями землю держит дуб!

И где всему цена и мера!
И где начало у кольца!
И не злодейство ль — наша вера,
что так вот будет без конца!

Не слышим мы, как время тает
за днями дни, за часом час.
Когда-то снова солнце встанет,
но только встанет — не для нас.

Да, время вспять не возвращается,
секунды не остановить.
Земля вращается, вращается,
а мы всё

начинаем

жить.



Поснимали деревья одежду златую,
постелили ее на поляну пустую
и уснули, весны дожидаясь прихода,
чтоб река разбудила их в день ледохода.

Осень двинулась в путь, и зима уже близко,
и помнится гнездо, наклонившее ветку,
одинокой, покинутой кем-то колыской,
словно сердце, в котором любви уже нету.



Уж до краев налились реки,—
но погоди, но погоди,—
как будто все это навеки,—
идут дожди, идут дожди.

Еще ты помнишь! Там, над садом,
вдруг птички стаи поднялись,
и долго,

долго,

долго падал,
кружась, осенний желтый лист.

Прощаньем пахнут наши двери,
и мы плутаем под дождем
и, забывая о потерях,
чего-то вновь наивно ждем.

— Иди! — К щеке прильнешь губами.
Дождя иль слез на них следы!
Твой вздох — как ладанка на память,
как заклинанье от беды.

Пройдут дожди. А там — морозы.
Однако суть понятна тут:

пусть вянут от мороза розы,
но в мае —

маки

зацветут.

ЗАКЛИНАНИЕ

**В сердце моем маета:
ночная звезда — МАРИЯ! —
утренняя — МАРИЯ! —
сгорает звезда — МАРИЯ! —
сгорает моя мечта!..**

**Утром роса — медовая,
вечерняя — словно соль.
Сердцу бы жить любовью,
а вместо любви — боль.**

**Мария, моя единая!
Сны — голубых голубей...
Если б не Украина —
молился бы лишь тебе.**

**Выйду из хаты прямо,
путь лишь один избрав,
и обращаюсь к ветрам я:
— Добрый вам день, ветра!**

**Хватит свистеть надсадно,
вихри в жите кружить,—
сердце Марии надо
чарами приворожить.**

Над морскими просторами
не теряйте время свое,—
присушите чарами черными,
присушите сердце ее.

Чтобы — ни батьки, ни бога,
чтобы — ни есть, ни пить,
только б меня, молодого,
только б меня, молодого,
только б меня, молодого,
верно и вечно любить!

.

Знаю — ничто не поможет,
даже присуха-трава.
Боль на беду перемножить
мне и не раз, и не два...

Нет от тебя мне спаса.
Жаловаться? Кому!
Знать, до последнего часа
маяться одному.



Ты тенётами золочеными
не держи. Отпусти и прости...
Перестали пахнуть ладонями
нежных писем твоих листы.
Кто повинен, что все так вышло?
Слишком ранней весна была.
Зацвела на леваде вишня,
не подумавши зацвела.
Обожженный морозным пламенем,
цвет вишневый к утру опал.
{Ох, весна! Ты с ума свела меня,
закружила меня, и — пропал...}
Хатам что до любовного лёта
и что вишня рано цветет!
Лепестки веют запахом меда.
Что же пчелы не пьют тот мед!
Ты тенётами золочеными
не держи. Отпусти и прости...
Перестали пахнуть ладонями
нежных писем твоих листы.

ПРЕДЗИМЬЕ

1

Как будто растворилось в сизой мгле,
померкло солнце. Поле задубело.
Сброд воронья на замершей земле —
как будто затевают злое дело.
Морозно. День, свой завершая круг,
уходит в яр, где тени уж толпятся.
И грустно. Словно кто-то умер вдруг.
И что нам — радоваться ль! Разрыдаться!
Рожденье. Единенье зябких рук.
А ветка поцвела да и завяла.
Страшнее нам не выдумать бы мук,
когда бы осень
нас
у нас не отнимала.

2

Уже прохладно. Обезлиствел клен.
И желуди в сухие травы пали.
И заморозки землю оковали
тончайшим серебром. И тишь — как звон!
Все так, как тысячу, как сотню тысяч лет:
рождается. Цветет. И умирает.
Покуда существует белый свет, —
начала нет, и нет конца и края.

**И прихожу я каждый день сюда,
и девушка приходит. И смеется.
И нам всегда казалось — остается
все вечным, и пребудем мы всегда.**



Через годы нам,
через броды нам
не перебрести
в этой тьме.
От самих себя
до самих себя
убежим
хотя бы
в письме.

Пред рассветом,
дня первоцветом,
в полувывмысле,
полусне
спишь — не спишь,
молчишь,
сердцем
слышишь тишь,—
вспоминается
о весне:

как стояли мы —
очи в очи,
поцелуй —
на двоих глоток...

Пробирался к тебе —
хлопчик,
от тебя возвращался —
бог.

... К боли — боль,
хоть на миг единый...
Но заказаны
все пути.
Через долию,
а не долину,
перемолвиться —
не перейти...

Только все-таки
на рассвете
напиши ты мне,
напиши! —
Не из ревности,
не из верности,
но в безгрешности —
согреши!

ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ

Зима обессилела — только и жди
дыханья последнего ночи безлунной...
А завтра!

А завтра ударят дожди
и грянет восстание зелени буйной!
В реке забунтуют на дне родники —
громами, громами
по ледоставу!

Натужатся
почек тугих
лепестки
и, может, цветами
до полудня станут.
И травы проломают
зачёрстневший снег,
и жаворонок,
свою песню рождая,
весной захлебнется...
И в поле у всех
сердца
затревожатся
об урожае.



Был я сиротой.
На рассвете
сонном
яблоко кто-то
возле щеки положил.
На рассвете...
Мир,
как же мне тебя не любить!!



Да, мне известно, что и я умру,
и кровь моя — тот самый сок березовый,
что из-под лезвий проступает слезно,
когда, как кожу, рассекут кору.

В лесу, где капли вешний день куют,
меж братьями и сестрами стою.



Зарею наливаюсь. Дозреваю.
Прощаюсь сам с собою — прозреваю.
И сам себя, как яблоко, срываю,
из мякоти, как зернышко, мерцаю,
и кожуру, как бинт с очей, сдираю,
стираю слезы. Белый свет вбираю.
И снова все сначала начинаю.
И свежей болью сердце начинаю.

К себе я прорываюсь — сквозь себя.
И от тебя отрекся — для тебя.

КОЛОСОК

Гроза прошла над Приазовьем,
но все гремит...

И не просох
перенагруженный росю
зеленый житный колосок.
И, очарованный вселенной,
в мир неизведанной красоты
он чутко выставил
антенны —
свои шершавые усы.

СОДЕРЖАНИЕ

«Мне для счастья нужно...»	5
«Кувшин... Как плечи милой, у него...»	6
Земля	7
«Пускай на перепутьях ворон кричат...»	8
«Ты приходишь сама...»	9
«За годом год, и день за днями...»	10
«Приснился друг...»	12
Отцовская шинель	14
Зимняя фантазия	15
«Не могилы, а чайки...»	17
«Поэтам тем — не манна с неба...»	19
Осеннее	21
Моему погибшему дядьке	23
Боль	25
Осокори	26
«Земля парует, вешняя — парует...»	27
«Мы сбросили роботы...»	28
«Какой там дом! — про теплую казарму...»	29
«Я чуть отдохну...»	30
Дворник	32
«Село мне вдруг приснилось...»	33

Поэт	34
«Над землю гуси пролетали...»	36
Мачеха	37
Полуденное	38
«Ключ журавлей углом туда...»	39
«А мне приснился сон...»	40
«О дней моих листва!..»	42
Мать ждет	44
«Туманной стала неба полость...»	45
На учениях	46
«До дому»	48
«Не снись мне чайкою...»	49
«Покидая вагон надоевший...»	51
Гармошка	52
Возвращение	54
«На дворе постелите мне, мама...»	56
В тайгу	58
«Причина всех моих печалей...»	59
«...А там рябиновый рубин...»	60
«О спину ружье будет биться...»	61
Дождь	62
«Под небом зеленым...»	63
«Сказала между прочим...»	64
«Олени тишины неслышно дышат...»	65
«А будет так...»	66
«И ночь. И Хортица. И ты...»	67

«Не диво ль — день, что знойно-зыбок...»	
«Поснимали деревья одежду золотую...»	
«Уж до краев налились реки...»	
Заклинание	
«Ты тенётами золочеными...»	
Предзимье	
«Через годы нам...»	
Предчувствие весны	
«Был я сиротой...»	
«Да, мне известно...»	
«Зарею наливаюсь...»	
Колосок	

Орач Олег Ефимович

ЗИМНИЕ ЖАВОРОНКИ

М., «Советский писатель», 1974. 88 стр.
План выпуска 1974 г. № 279. Художник
Г. И. Фишер. Редактор Н. Н. Сидоренко. Худож. редактор В. И. Морозов. Техн. редактор Т. С. Казовская. Корректор Л. И. Жиронкина. Сдано в набор 4/III 1974г. Подписано к печати 31/V 1974 г. А 02230. Бумага 70×108¹/₃₂ № 1. Печ. л. 2³/₄ (3,85). Уч.-изд. л. 2,02. Тираж 10 000 экз. Заказ № 246. Цена 22 коп. Издательство «Советский писатель». Москва К-9, Б. Гнезниковский пер., 10. Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Советского Министров СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109.

22 коп.

